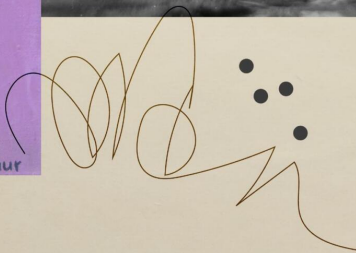
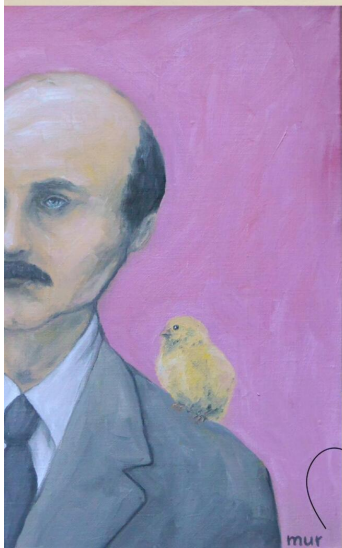


ТО О ТОМ, ТО ОБ ЭТОМ

РАССКАЗЫ



И. МУРИНСКАЯ

И. Муринская

То о том, то об этом. Рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69183958

SelfPub; 2023

Аннотация

Сборник из четырех коротких, не связанных между собой сюжетно, рассказов о женщинах разной судьбы, комплекции и душевной архитектоники.

Содержание

Воздушный змей	4
Валентина в музее	14
Трамвай	21
Шахматы	30

И. Муринская

То о том, то об этом. Рассказы

Воздушный змей

Так это началось. С воздушного змея. Она увидела его в четвертом эпизоде сериала, который смотрела за завтраком, и в одно мгновение пережила заново тот длинный, запутанный, по большей части не переводимый на языки бодрствования сон, что случился с ней накануне. В тот же день она пошла на ближайший рынок и купила метрового коробчатого змея, удивительно похожего на тот, что был в её сне. Погода стояла ветреная, и прямо с рынка она отправилась в лесопарк. Там было одно место, небольшой пустырь, заросший мятликом и снытью, на котором по слухам и совершались те самые убийства прошлым летом. Маньяка поймали, но эта часть парка, как и сам парк, приобрели дурную славу. Теперь там редко кто бывал. Когда она пришла, там не было ни души.

Она развернула змея, собрала его и не сразу, но запустила. Небо было низким, тяжёлым, сиреневато-серым. Казалось,

что ещё немного, и трепыхающаяся в вышине сине-зеленая фигура скроется в облаках. О том, что тело змея всё ещё как-то связано с её ладонью, удерживающей рукоятку, говорило только ощущение натяжения, которое то ослабевало, то усиливалось, в зависимости от скорости и направления воздушных потоков. Она смотрела вверх и пыталась уловить то, что так поражало её в собственных снах. Память редко оставляла ей после них достаточное количество деталей для последовательного пересказа, но какой-нибудь мелочи, вроде этого змея, хватало, чтобы сковырнуть в ней нечто такое, что делало её одиночество самодостаточным – чем она ни с кем не смогла бы поделиться.

Примерно через час затея со змеем стала казаться анахронизмом. Она сложила его обратно в пакет и двинулась вглубь парка. Она надеялась отыскать фиалки с чёрными листьями, о которых прочитала на щитке у входа, под заголовком «Флора и фауна нашего парка», но повсюду росла только всё та же сныть, немного клевера и осоки. Слева и справа от тропинки громоздились мачтовые сосны, настолько высокие, что их мохнатые, похожие на лобки верхушки образовывали, казалось, собственную экосистему, отдельную от колоннады стволов рядом с землёй.

– Римма?

Перед ней стоял невысокий мужчина. Про него можно было бы сказать «лысеющий», только в его лысении было что-то неправильное – оно не начиналось с прорежённой ма-

кушки или плавно растущего вверх лба, как это обычно бывает. Вместо этого по всей голове, напоминающей кокосовый плод, равномерно распределялось множество маленьких плешей. Это было всё равно, как взглянуть на закат и обнаружить на его месте плохо написанную картину с закатом.

– Нет.

Микроплеши на голове мужчины пошли красными пятнами, сам он весь как-то сморщился, промямлил: «Извините...» – и засеменял прочь.

Это и правда не было её именем. А если б и было, то ответила бы она так же. Однако ей не только был знаком кокосовый тип (момент его узнавания начинался всегда именно с этого ощущения неправильности, которое вызывал его скальп – сейчас она это поняла), но она даже знала, кто такая Римма. Пару лет назад она посещала студию макраме. Кокосовая башка был единственным мужчиной в их группе и вызывал к себе в женщинах, сплочённых одинаковыми возрастом (ранне-преклонным) и финансовым состоянием (плачевным), одновременно и жестокость, и жалость. Римма была тем обязательным в любом обществе персонажем, который задаёт беззастенчиво много вопросов и делает неуместно много комментариев с крайне раздражающей, бесконечно самодовольной интонацией в голосе, которая как бы говорит: «Да, мне плевать, что я отнимаю у вас время; да, я абсолютно уверена, что любая моя мысль настолько интересна и ценна, что её необходимо озвучить при любых обстоя-

тельстввах». Было вдвойне неприятно – оттого, что её с кем-то спутали вообще, и оттого, что этим кем-то была именно Римма.

В ту ночь ей приснился храм. Это был вроде как храм храмов, конечная станция истины, объединяющая все существующие официальные и неофициальные конфессии, все духовные разыскания человечества. Выглядел он почему-то как один из сараев во дворе у бабушки, где она бывала в детстве, – небольшое сумеречное помещение с деревянными стенами, маленькими серыми паучками, оплетшими углы твердой густой паутиной, и очень мутным квадратным оконцем, сообщавшимся не то с летней кухней, не то с другим сараем. Когда они с двоюродным братом Симой его обнаружили, то решили непременно найти такое взаимное положение, чтобы посмотреть сквозь него друг на друга. Механика процесса оказалась необычайно для такого простого предмета сложной. Возможно, это было даже не одно оконце, а два или три. Всё ж таки волшебный трюк состоялся. Она прекрасно помнила, как ставшая далёкой, прелестной и новой, дорисованная грязью и неровностями толстого зеленоватого стекла фигура брата с кинематографичной немотой покачивается рукой, и хотя никак невозможно было разглядеть, куда он смотрит, она знала, с той же уверенностью, с которой знает иногда о вещах в своих снах, что смотрит он на неё, что тоже видит её. Оконце выглядело точно так же, только теперь она не знала, *что* обнаружит, если заглянет в него,

а заглянуть хотелось страстно, предмет этот приводил её в восторг и в то же время казался жутким. Даже пузатые галоши и треснувшее от сырости корыто были теми же самыми. Так выглядел храм внутри. А снаружи он не выглядел никак, потому что снаружи у него не было, только внутри.

Небольшая каменная церковь, расположенная за чертой города, имела странное название, в честь какой-то малоизвестной святой. Белый в рытвинах восьмерик с шатром кончался маленькой чёрной луковкой. Никого, кроме продавщицы свечей, внутри не оказалось. Было тёмно-серо и прохладно. Она процокала к иконостасу. Немного потопталась перед ним, пытаясь различить знакомых персонажей. Под её башмаком что-то влажно хрустнуло (подвальный изопод? улитка?). Она вышла. От паперти тянулась тропинка в поле, зазывная соблазнительность которой усиливалась только что пережитыми неловкостью и лёгким приступом клаустрофобии. Чем дальше она шла, тем большее наслаждение получала оттого, как ладно и свободно двигаются её ноги, как будто она была каким-нибудь сильным и красивым лесным животным, наподобие зайца или вепря. Когда ширь вокруг развернулась настолько, что стала напоминать глубь, она остановилась. Перекрывавшие друг друга внахлест ландшафты сливались на горизонте в одну сплошную синюю пелену, почти не отличимую от неба. Вглядываться в неё было скучно. Тут и там розовели островки иван-чая. Ей захотелось, чтобы после смерти её принесли сюда, аккуратно, на руках, как жи-

вую, и оставили лежать в этих тёплых, ароматных, бесконечных пространствах, как есть, без гроба, без закапывания, без унижительных маркировок с именем и датами, похожими на сроки годности продуктов в магазине. Это было бы подобно тому, как утомленное от долгой физической работы тело утопает в дремотной неге, неуловимо и безболезненно совершая свой неразгаданный переход в другие формы, только то будут формы *ещё* более другие, совсем другие – безвременные и беспространственные, беспредметные и безосновательные, бессубъектные и безобъектные, безграничные и безудержные, бесконечные и безначальные, бестолковые и безалаберные, короче говоря, *по-настоящему другие*.

Было бы не совсем верно сказать, что этого человека она просто «видела» во сне, – в довольно значительной степени она этим человеком и была, что, тем не менее, не делало его образ сколько-нибудь ясным. Он представал перед ней всегда только частично, по сути, одним только рукавом полосатого пиджака, тогда как всё остальное оставалось скрытым за толстым стволом дуба и под сенью его густой кроны, превращавшей сумерки в абсолютную тьму. А о том, что она сама была им, свидетельствовало отчётливое убеждение, что никогда и ни при каких обстоятельствах невозможно выйти и явить себя целиком той, что наблюдает извне, а также осведомлённость о наличествующей в ушах и под ногтями грязи.

Ни один из прохожих ни в лесопарке, ни на пути к нему не

имел ничего общего с рукавом. Идти домой было ещё слишком рано, и она отправилась в торговый центр, который, к слову, был очень похож на лес. И тут, и там, она пребывала в приятной ей обособленности, которую не нарушала возможность многое видеть, слышать и ощупывать. Уже около полугода она не покупала себе почти ничего, кроме магазинной еды и предметов первой необходимости, так что тот вечный внутренний зуд, который заставлял её когда-то тратить больше, чем следует, рисковал теперь достигнуть удовлетворения, не отягощенного чувством вины. Вещи, в отличие от многого другого, не стали волновать её с годами меньше. В некотором смысле, думала она, ничего, кроме них, ведь у неё и нет. Из торгового центра она вышла в последний час перед закрытием. На ней был новый полосатый пиджак.

Бывать в лесопарке стало её временной привычкой. Такие у неё бывали. Появлялись сами собой, как вши у ребёнка в приличном доме, сами же потом и пропадали. В сидевшей на лаковой зелёной скамейке фигуре она не сразу узнала Кокосоголова – так сильно он с закрытыми глазами отличался от себя же с глазами открытыми. В таком положении он был едва ли не красив. Что-то трогательное, влажное мерцало в выражении его мягко покрывавшей глазные яблоки коже. Она подошла совсем близко. Его уши напомнили ей каллы, которые выращивали в детстве дома, такие же нежные на вид и одновременно с тем жёсткие. Даже его атипичная плешивость не производила в этот момент оттал-

квивающего впечатления. Вдруг, очень резко, его веки разомкнулись, моментально переменив обстановку и обнаруживая устремлённый прямо на неё нехороший и совершенно не удивлённый взгляд, так, словно бы он был устремлён туда уже очень давно, исподтишка изучая её сквозь прозрачные, как у змеи, веки. Она отшатнулась и попыталась придать себе непринуждённый вид.

– Прекрасный день для прогулки! Вот так прекрасный!

Она заболела. Всю ночь и порядочную часть следующего дня она пребывала в той самой поверхностной стадии сна, которую от другой стороны отделяет единственно тонкая прозрачная мембрана, сквозь которую как бы всё видно и всё слышно, так что, проснувшись, мы не всегда можем установить, что из воспоминаний этого периода относится к порождённому изнутри, а что – к просочившемуся извне. Так, придя к вечеру, что называется, в себя, она с одинаковой подозрительностью перебирала в памяти звуки перекатываемых по полу металлических шариков, страдальческое, наподобие азана, пение откуда-то издалека, из-преломлённого-через-сложную-систему-линз-и-зеркал-далека, шмыганье по верхушкам деревьев каких-то хвостатых птиц и полёт по комнате размером с детский кулачок голубоватой светящейся сферы, вроде шаровой молнии, которая как бы что-то беззвучно ей вменяла, чего-то требовала, так что приходилось отвечать, оправдываться, но ответы получались невпопад, она знала, что неспо-

пад, но и молчать казалось немислимым. В дверь позвонили. Случалось это нечасто – ошибка, продают какую-то дрянь, главный по дому чего-то попросит. Обычно она ничего не предпринимала и только тихонько ждала, чтоб ушли. Но что-то заставило её в этот раз дойти до глазка. Простуда сделала её легкомысленной, помолодевшей. За дверью стоял Кокосоголов. Она отворила. В руках у него был круглый пластиковый контейнер с желтоватой жижей, и он ритмично подтягивал его кверху вместе с межбровной морщиной, как будто там, на дне, лежал ключ ко всем подобранным к ней в его припухшем лице тайнам.

Принёс, вот, суп, хе-хе.

Во всех её бывших мужьях было что-то материнское. Кокосоголов сидел на её кухне и с извиняющейся интонацией объяснялся: как нарочно обозвал её «Риммой», как разведал адрес через каких-то общих знакомых. Разогревал суп и отрезал ломоть хлеба же с таким проворством, какое в его несуразной фигуре и вообще говоря не предполагалось, и уж тем более – не здесь, на чужой кухне, где, если исходить из того, что нам известно, он никогда прежде не бывал.

В ту ночь она поняла, почему человек за деревом себя не показывал – потому что ничего, кроме этого свойства, этой спрятанности от него и не осталось, почти ничего. Даже грязь в ушах и под ногтями если и наличествовала, то наличествовала сама по себе, без ушей и ногтей, а то, может, и вообще была просто ложным воспоминанием. Ужас от собствен-

ной почти-не-бытийности, ужас и полосатый рукав – вот и всё, что там было, и от этого ужаса она проснулась. Рядом с ней лежал Кокосоголов, закрытоглазый и едва ли не красивый. Надо бы поискать чек от воздушного змея, подумала она, вновь засыпая, может, примут ещё назад.

Валентина в музее

Валентина ходила в музей каждую среду – по средам он работал до девяти. Много лет назад, когда это еще не стало привычкой, или, лучше сказать, ритуалом, она заметила, что для большинства, особенно для туристов, которые и составляли основную часть посетителей, поход в музей – занятие дневное, для местных же еще и преимущественно занятие выходного дня. Таким образом будний вечер – самое благоприятное время для того, кто отдает предпочтение самостоятельному и насколько возможно уединенному осмотру. Тем более что лучше всего она чувствовала себя именно вечерами, когда её капризный кишечник уже успевал опорожниться, а головная боль после сна, связанная с задержкой спинномозговой жидкости, – пройти.

В разное время она привязывалась к разным предметам. В самом начале больше прочих ей нравился зал с голландской живописью семнадцатого века. Количество склянок с мочой на полотнах поражало воображение. Еще сильнее поражала его висевшая возмутительно высоко картина, на которой со спины была изображена подметающая служанка в тихой пустой комнате, а также холодный шахматный пол, на котором лежали пропущенные сквозь высокие решетчатые окна яркие пятна света, и приглушенный рефлекс, который создава-

ли эти пятна на нижней части стены с окнами. Поражало то, что картина совершенно очевидно не была ни о служанке, ни о комнате, ни даже об ярких пятнах света, а именно об этом растушеванном рефлексе, который был расположен в самом центре холста так, что если бы служанка и направила взгляд в его сторону, то не смогла бы увидеть его за скамейкой.

Каждый раз её взгляд задерживала на себе витрина с итальянскими кружевами. Она воображала себе женщин, которые носили их на себе, смуглые ароматные тела после молочных ванн, мягкие шелковистые волоски на ногах, сумеречные комнаты с балдахинами над кроватями, легкий прохладный хлопок множества замысловатых поддёвок, которые обшивали самыми нежными и тонкими из этих кружев, то, как этот хлопок прикасался к разгорячённой, слегка влажной коже.

В одном из залов неподалёку висела шпалера шестнадцатого века со свиньями, поедающими розы. Ей нравилось в ней всё – и свиньи, и розы, и то, что первые поедают вторых. В этом было что-то декадентское.

Разумеется, она была влюблена в Антиноя, который в её воображении был одним и тем же, не имеющим никакого отношения к древним культурам мужчиной, что и бронзовый, слегка женоподобный Давид.

В немецком зале её привлекали семейные портреты с детьми, которые выглядели как уменьшенные взрослые – такие же аккуратные, серьёзные и напыщенные. Противные

маленькие бургеры.

В зале итальянском она часто останавливалась перед ранневозрожденческими сиенскими Мадоннами в манерных позах и чёрными, похожими на стрижей херувимами.

В археологии ей больше всего нравились вещи, собранные из осколков. Не сами эти вещи, а именно то, как отдельные кусочки, особенно стеклянные, примыкали друг к другу. Какое удовлетворение, должно быть, получали археологи (реставраторы?), когда после длительного поиска нужной детали под их пальцами, наконец, возникала ладная, успокоительная неподвижность примкнувших друг к другу фрагментов.

Трудно сказать, в какой именно момент её впервые остановил перед собой «Пейзаж со сценами карнавала», но сегодня, как и в прошлую среду, как и в среду до этого, как и в каждую среду на протяжении уже почти целого года, она шла в музей только ради него.

Это была небольшая писаная маслом картина, примерно тридцать на сорок сантиметров, изображавшая заснеженный нидерландский городишко с невысокими домами в северном стиле, заледеневшей рекой, полупрозрачной мельницей на заднем плане и рассыпанными почти по всему полотну человеческими фигурками. Снег, как и всё остальное, был выполнен в мрачных, серо-коричневых тонах. В родном городе Валентины был такой же тёмный грязный снег. Он лежал там повсюду толстым ровным слоем большую часть го-

да, с октября по апрель, точно как на картине. Небо художник сделал почти неотличимым от земли – таким же мрачным и таким же грязным (был ли в этом какой-то символизм, Валентина не знала). Немного выделялись из общего почти монохромного колорита только одежды людей, в основном горчично-жёлтые и приглушённо-красные – как-никак это был карнавал. На фоне самых светлых, близких к горизонту участков неба выделялись тонкие ветки деревьев и кружащие вокруг них птицы – это были наиболее контрастные места на картине. Среди людей сновали тонконогие собаки. Между тем, центральной фигурой всегда оставался для неё человек в костюме с бубенцами, державший по одному зажжённому факелу в каждой руке. Или даже не столько сам этот человек, сколько его сужающаяся кверху шапочка, напоминающая по форме мочевой пузырь.

Валентина не смогла бы объяснить, чем так притягивает её этот экспонат. Он был далеко не самой ценной и примечательной вещью в музее, она это знала. Даже среди образчиков того же жанра и той же эпохи здесь можно было найти и более искусно выполненные, и более сюжетно интересные вещи – это был большой, богатый музей. Но аналогичного эффекта они на неё не производили. Когда она смотрела на «Пейзаж...», и только в эти моменты, она чувствовала себя так, словно вернулась туда, где на самом деле никогда в жизни не бывала, но куда всегда мечтала вернуться. Сужающаяся шапочка.

В это среду всё начиналось как обычно. Она надела серое платье из тонкой шерсти, мягкие кожаные туфли без каблука и длинный твидовый пиджак, который смотрелся на ее маленькой хрупкой фигуре вполне элегантно. Стоял июль, солнце грело во всю силу даже вечерами, но с определенного возраста Валентине больше никогда не бывало тепло, вещей с короткими рукавами она не носила уже лет пятнадцать.

Проходя по залам, она встретила взглядом с музейным работником, в котором узнала знакомого, точнее сказать, знакомое лицо, как всё в этом месте, виденное ею, так или иначе, множество раз. Он слегка улыбнулся ей и странно-то закивал, или, может быть, не закивал, а непроизвольно затряс головой вследствие какого-то неврологического заболевания. Валентина неопределённо кивнула в ответ, а через несколько секунд вспомнила, что спала с ним – настолько давно, что успела об этом забыть и прожить в этом забытьи порядочно много времени. Возможно, это был даже уже не первый подобный цикл забывтья и выхождения из него. Воспоминание было ей неприятно, точнее, не само воспоминание, а то, что оно возникло вот так, в неподходящее время, то, что оно вообще возникло. Она даже слегка ускорила шаг.

Ничто не могло испортить ей этот вечер. Значение имела только Картина. Она знала, что стоит ей взглянуть на неё, и всё остальное не то чтобы перестанет существовать, а как бы, напротив, засуществует по-настоящему. Всё, обесцененное неотвратимостью смерти, все эти люди, которым нет до

её мыслей и чувств никакого дела, все прожитые годы – всё сойдётся в этой тысяче квадратных сантиметрах таким образом, что вопрос о смысле вещей потеряет необходимость, изживёт сам себя, останется только смысл, такой смысл, о котором не спрашивают. Шапочка!

Оказавшись в нужной галерее, Валентина ощутила что-то странное. Как будто передвинули что-то незаметное, но очень большое, или, возможно, перекрасили стены. Такое уже бывало в других помещениях. Её это не слишком смутило и она продолжила идти прямо, пока не поняла, что дошла до следующего зала. В последнее время с ней стало такое случаться – она сворачивала не туда по пути в хорошо знакомое место или забывала, зачем зашла в комнату. Она развернулась и двинулись обратно, внимательно изучая обе стены справа и слева от себя. Достигнув исходной позиции, она повторила это действие несколько раз. Картины в галерее не было. Валентина немного подумала и пошла на поиски в другие залы. Сначала в соседние, а потом и во все остальные, пока не исследовала все три этажа музея. Перед выходом она вернулась в галерею, в которой всегда висела Картина, и справилась о ней у смотрительницы. Та ответила, что никогда такой не видела. Смотрительницы идиотки.

Валентина вышла на улицу. Вечер был такой свежий, что даже выдыхаемый другими сигаретный дым казался просто естественной составляющей ветра. Она понимала, что очень устала, но собственные ощущения – ноющая спина, пульси-

рующие виски – казались ей далёкими и не совсем своими. Она шла очень быстро, пока не добралась до набережной. Там она остановилась. Из множества перемешанных между собой городских звуков отчётливее всего проступали сигнальные гудки машин. Вода была беспокойная, почти как в море, и такого же цвета, как снег на Картине. Валентина перевалилась через гранитное ограждение и никогда больше не чувствовала себя одинокой.

Трамвай

Ей казалось важным тщательно описать вещи, никем прежде не описанные, промежуточные, незамеченные, ничем не выделившиеся. Что это за вещи и почему это важно, она и сама толком не знала. Эта важность существовала в ней в виде ускользающего сакрального убеждения, а также некоторых разрозненных образов и наблюдений. Вот, скажем, самые заурядные предметы, которые для одного конкретного человека неожиданно много значат. Для нее, например, необъяснимо важны были резервуары. Стоило ей просто подумать о самом типичном стальном цилиндрическом вместилище с подернутой ржавчиной лесенкой, как ей словно бы открывалось другое измерение. Размышлять об этом она могла только на ходу. Чтобы мысли начали возникать легко и вдохновенно, идти требовалось достаточно долго и непременно в одиночестве. За это она и любила большие города. Улицы в них всегда были похожи одна на другую, но все же оставались разными. Это сочетание подобия и различия делало такие прогулки практически неисчерпаемыми. Сегодня, в свой тридцать четвертый день рождения, Элла решила выйти из дома пораньше. На три часа дня она была записана в парикмахерскую – собиралась сделать каре с прямой чёлкой, такая прическа была у нее в детстве, а по-

том волосы (они были у нее густые, пшенично-серебристого оттенка) отросли, и она стала собирать их в тугой пучок на затылке; так продолжалось много лет, и до недавних пор она вообще об этом не думала. Предвкушение резкой перемены её приятно волновало.

Стоял май, весна выдалась погожая, утро субботнее, и улицы были таковы, какими она их больше всего любила – пустыми и солнечными. Она не переживала по поводу возраста. Меланхоличное превращение будущего в прошлое ее не пугало и не удивляло. В мысли о смерти она находила что-то уютное. На ней было свободное голубое платье из вискозы, закрывавшее колени, на плечи она набросила серый шерстяной свитер. Ей хотелось выглядеть как изящные худощавые девушки с длинными пальцами и ногами, но даже в свои лучшие времена ей этого не удавалось – в ней всегда было слишком много мышц, слишком много какой-то округлённости.

Она дошла до трамвайной остановки. Среди разных видов транспорта трамваи нравились ей больше всех – первый, пришедший минут через семь, был старенький, весь расхлябанный, с наполненными пылью и светом вагонами, соединенными между собой гармошкой, то есть особенно приятный. В него Элла и села. Кроме неё во всем трамвае был ещё один только пассажир – Макар. Макару было девять, он наискось свисал со своего сидения, едва доставая носком в чёрном кожаном башмаке до пола. Плечи серого, взятого на

вырост пиджака не сползли вниз вместе с ним, а оставались на месте, так что его голова наполовину утопала под воротником, как у напуганной черепахи. Днём раньше он заходил к школьному знакомому, который держал в доме кошку. Питомец был неприветливый, так что несколько безуспешных попыток его погладить закончились для Макара множественными царапинами на руках и даже одной на лице. Теперь он любовно ощупывал и осматривал их как что-то чрезвычайно ценное и даже священное, наподобие стигматов, и надеялся, что они ещё долго не заживут. Он вообще часто думал о животных. Например, обтянутые чёрными чулками толстые голени его школьной учительницы заставляли Макара воображать, каково быть собакой, подбегать незаметно сзади и кусать её за них. На следующей остановке он вышел и направился к дому, в котором жил его отец. Его посылали сюда каждые выходные.

На скамейке перед подъездом сидела Дуняша. Увидев Макара, она помахала ему своей странной большой ладонью. Ему стало неприятно. Дружить с девочками считалась чем-то постыдным, это случалось только с теми, у кого не было настоящих друзей, обладать которыми Макар страстно желал. Он хмуро кивнул в ответ и скрылся за железной дверью. Дуняша осталась сидеть на скамейке и стала думать о том, как снова отправится на всё лето в деревню. В прошлый раз её уже почти перестали там называть «колхозницей-Дуняшей» – прозвище тем более обидное, что в нём не было

никакого смысла, ведь это она приезжала к ним из города в деревню, а не наоборот. Она надеялась, что, может, теперь и вовсе из предмета насмешек сама превратится в великолепную насмешницу, такую, как девочки постарше, которые носили короткие обтягивающие юбки и топы на тонких бретелях, под которыми проступали первые пубертатные признаки. Она посмотрела вверх, в окно второго этажа. Макара там не было. Дуняша косолапо поплелась домой. Иногда ей удавалось контролировать свои ноги, но стоило забыть, как они мгновенно разворачивались носками внутрь. Дома оказались мать и бабка Анята. Мать жалела бабку Аняту и позволяла ей сидеть на кухне часами, вполуха слушая бесконечные рассказы о неизвестных ей родственниках, жалобы на здоровье, на врачей, на цены в магазинах, на пенсию, на политиков, на телевизор, на погоду, на молодёжь и на всё, что пришлось к слову. Дуняше не нравилась бабка Анята. Жилось ей плохо, это правда. Но сколько мать ни угощала её домашними пирогами, та ни разу даже не сказала «спасибо». Могла и больно ущипнуть Дуняшу. Вроде как в шутку, но глаза её при этом смотрели как у совы – пусто и хищно. Дуняша закрылась у себя в комнате. За окном полил полетнему внезапный и бурный дождь. На кухне стало приятно сумеречно и тихо – Бабка Анята замолкла. Когда дождь прекратился, она со вздохом поднялась.

– Пойду я, Симуль.

Эта фраза всегда заставляла Дуняшину мать чувствовать

себя виноватой. Обычно она старалась снабдить гостью на дорогу чем-то съестным, но в этот раз готовой еды у неё не оказалось, и бабка Анюта вышла на лестничную клетку с авоськой, в которой не было ничего, кроме нескольких веток сирени. Уж обрывать сирень-то она право заслужила.

Когда дверь захлопнулась, стало еще тише. Серафиме вспомнилось, как ещё до рождения Дуняши, она три года проучилась в университете, пока её не отчислили за низкую успеваемость. Вспомнилось, как однажды, уже после сессии, среди лета, ей пришлось отправиться в один из множества незнакомых ей корпусов в отдалённом от знакомого районе города. Территория, на которой раскинулись учебные, жилые и технические здания университета, была огромна. Архитектурный посыл, находчиво преемствующий классические традиции, состоял, очевидно, в возвышающем значении образования и еще более возвышающем – патриотизма, однако в нынешних обстоятельствах производил впечатление совершенно иного свойства. Залитый полуденным солнцем асфальт, слепяще-белые колоннады несоразмерных обыденному человеческому чувству гигантских сооружений при абсолютной, почти пугающей безлюдности, создавали ощущение сновидческое, сюрреальное, напоминающее картины Джорджо де Кирико и заброшенные театральные декорации. Опустелость внутри нужного ей корпуса поражала еще сильнее, чем снаружи. Даже на входе не оказалось кого-нибудь, чтобы проверить наличие студенческого билета

или чего-то в этом роде. Она поднялась на второй этаж, прошла по круговой балюстраде, попыталась открыть дверь в предположительно требовавшийся ей зал, но дверь не поддавалась. Затем последовало ожидание у другой двери, поспешное перемещение с этажа на этаж, снова ожидание. Ни причину, по которой она оказалась в этом месте, ни того, что из этого вышло, ни одного лица, ни одного разговора она даже смутно не могла теперь припомнить, но эту тишину, эту безлюдность, это ожидание, эти белые колоннады помнила яснее вчерашнего дня.

Бабка Анята принялась медленно спускаться по лестнице с третьего этажа. Лифта в доме не было. Чтобы преодолеть очередную ступень, ей требовалось сначала поставить на неё трость, потом одну ногу, а потом и вторую. Сегодня она решила навестить своего единственного в городе родственника – брата Багратиона, который ровно восьмой год покоился на местном кладбище. Погода стояла хорошая, новая изумрудно-зелёная шаль, которую она долго не решалась купить и в конце концов выторговала почти задаром на рынке, смотрелась очень прилично, и бабка Анята приободрилась. В трамвае она заняла одиночное место у окна. В мокрых кустах и деревьях с уже вполне мясистыми листьями сверкало солнце. Всаженность домов в землю казалась особенно основательной. Почему-то захотелось плакать. На сиденье перед ней уселась грузная женщина с густыми чёрными волосами, собранными в хвост красной бархатистой ре-

зинкой, украшенной стразами. В местах, где стразы отвалились, виднелись следы клея. Над верхней губой у женщины росли мягкие чёрные усики. Затренькал телефон. Женщина ответила («Алло!») и принялась что-то бурно обсуждать («Да!... Я сейчас еду... Бери, я тебя наберу... Да!... Я еду!... В трамвае еду...»). Бабка Аня не вникала в раздававшиеся перед ней слова, раздражали её скорее сами резкие звуки. Она подалась вперед и похлопала женщину по руке. Та, видимо, решила, что её задели случайно, только слегка обернулась и продолжила телефонный разговор. Бабка Аня стукнула с досады по переднему сидению тростью.

– Так, давай тут хватит уже... Хватит!

Женщина оторопела и убрала телефон. («Перезвоню...»)

– Вы что делаете?

– Что надо, то и делаю!

– Больная!

– Это ты больная, приехала...

– Да...

– Я не хочу слушать ваши «аллилуйи»!

Последнюю фразу бабка Аня произнесла очень громко, преувеличенно отчетливо, почти по слогам.

– Ты нее имеешь права оскорблять...

– Имею право оскорблять! Ещё не наши, ещё тут командуют...

– Я гражданка Российской Федерации!

– Ой, да... Ну... не нашего города!

- Нашего! Я тут прописана и квартиру я тут купила!
- Приехали сюда и купили квартиры!
- Купила, да! Какое твоё дело? Больная...
- Это ты больная, приехала! А я здоровая, я здесь живу!

Саяра решила больше не спорить, тем более ей было пора выходить. Впечатление от случившегося она почти сразу с себя стряхнула. Дома её ждала больная мать, примерно такого же возраста, как бабка Аня. Когда Саяра зашла в комнату, она сидела в кресле с пультом в руках и закрытыми глазами. Засыпала она всегда с пугающим видом – как будто при таком положении её рот уже должен был широко открыться, но в силу какого-то внутреннего усилия оставался закрытым, странно удлинняя нижнюю часть лица, делая его почти неузнаваемым, чужим. Саяра разбудила её, заставила съесть немного супа, помогла сходить в туалет и снова отправилась на улицу, выгулять Джека, белого бультерьера с чёрными носочками.

Солнце садилось. Саяра порадовалась про себя, что надела пальто – вечера всё ещё стояли холодные. Она любила гулять с Джеком, могла пройти пешком целый километр. Оказавшись неподалёку от трамвайных путей, она услышала шум из человеческих голосов. Подойдя поближе, она обнаружила беспорядочную толпу, очевидно, собравшуюся вокруг чего-то посреди дороги. Саяра протиснулась к центру. На рельсах лежало окровавленное тело женщины. Её голова была повернута лицом вниз. У неё были подстриженные под

каре волосы пшенично-серебристого оттенка.

Шахматы

Сегодня утром снова сидела в парке. Одна. Одна в том смысле, что никто не пришёл сюда со мной намеренно, не сказал: «Эй, Серафима, пойдём вместе в парк». В некоторых других смыслах одна я, конечно, не была. Например, на втором часу я заметила, что кто-то пробежал мимо моей скамейки. То ли крыса, то ли ребёнок. По звуку было больше похоже на крысу. (Я очень хороша в определении вещей и событий по звуку. Когда приходилось укладываться спать вместе с другими детьми, я всегда могла безошибочно установить, кто из воспитательниц приближается снаружи к закрытой двери, чтобы нас разбудить или проведать.) По размеру же скорее напоминало ребёнка. Возможно, то был ребёнок, который изображал крысу. Или просто очень большая крыса. Обычно, когда дети играют в животных, они делают это согласно тому, что внушили им взрослые. Но этот ребёнок (если остановиться на второй версии) был чрезвычайно самодостаточен. Ему удалось изобразить ту особую крысиную грацию, которую не замечают крысофобы. Чтобы её заметить, необходимо воспринять крысу целиком и непременно в движении. Её сердцевина, апогей, так сказать, заключён, пожалуй, именно в звуке – в том едва уловимом шлёпанье, которое издает крыса, когда отталкивается своими подвиж-

ными розовыми пальчиками от земли во время бега. Как бы то ни было, я не повернула головы, чтобы получше рассмотреть того, кто пробежал мимо моей скамейки. К этому моменту я достигла той редкой невесомой неподвижности, которую в последнее время стала очень ценить. Полная статичность похожа на очень быстрое движение. Раньше это движение я могла бы описать как стремительное падение. Теперь же это было скорее неспешным плаванием вниз по течению. Однажды мне приснилось, что я сижу на плоту, несущем меня по быстрой прозрачной реке, и вдруг отчетливо различаю на дне огромную переливчатую жемчужину. Я опускаю в воду руку, чтобы достать её, но делаю это слишком поздно, и жемчужина остается позади, навсегда потерянная. Я вскрикиваю от горя, хватаюсь в ужасе за голову, а через несколько секунд думаю: на кой чёрт мне была нужна эта дурацкая жемчужина?

Первое, что я вижу, когда отвлекаюсь от письма и смотрю в окно, – это другие окна; такие же, как то, сквозь которое смотрю я, но совершенно отличные от него из-за моего относительно них местонахождения. В детстве у меня был пластиковый конструктор, из которого можно было собирать дома. Больше всего мне нравились в нём прозрачные детали, которые имитировали стёкла. Теперь я спрашиваю себя: нравились ли мне эти детали потому, что они были похожи на окна? Или же окна мне нравились оттого, что напоминали об этих деталях? Иногда, солнечным днём, какое-нибудь из

этих далеких окон открывают (или закрывают), и на мгновение оно принимает такое положение относительно солнца, что вся комната наполняется оглушительно яркой вспышкой отражённого света.

В дверь постучали. Это была Симона. Я знала, что это была она, потому что, во-первых, стучала она всегда на один и тот же, нахально-решительный манер, а во-вторых потому, что больше никто ко мне никогда и не стучал. Почти никогда. Когда заносили последние вещи, эта корова чуть ли не внутрь сунулась. Как к себе домой. Луиза посмотрела тогда на неё так, как смотрят подруги-мамаши на славно поладивших между собой детей. Почему-то считается, что дети и старики должны непременно сойтись, оказавшись сидящими за одной школьной партой или, вот, живущими в соседних квартирах. Несправедливо и для тех, и для других. У меня с этой тучной скотиной ничего общего нет и быть не может.

– Симочка, это я!

Приносит вечно своё это сливовое варенье в липких пиалках. «Симочка». Потребовалось немало времени, чтобы я смирилась со своим наименованием, даже с различными его формами. Грегор придумал называть меня «Фимой», это было как получить новое имя без необходимости отказываться от старого. Но «Симочка» – это выше моих сил. Притвориться, что никого нет? Тогда вернётся позже, нет. Открыть сразу и перетерпеть. Когда всё кончится, обнаружить на своём лице глупейшую улыбку, а в своих руках – липкую пиалку.

Сливовое варенье, вообще-то говоря, мне нравится. Не стоит переносимых за него мук, но смягчает их. Что-то неизбывно трогательное есть в намазанном сливочным маслом ломте батона с растекающимся по нему вареньем. И даже Симона не способна этого испортить.

Луиза – это моя дочь. Она редко меня навещает, но я этому даже рада. Между нами всегда была какая-то неловкость. Даже когда она была ещё совсем маленькой девочкой. Никто об этом со мной не говорил, но все это замечали, замечают до сих пор, я знаю. А с Грегором ей всегда было хорошо. Я даже ревновала его к ней тогда, вначале. Странно, что не наоборот. То, что кого-то ещё моя дочь предпочитает мне, совершенно меня не волновало.

Предвечернее время нагоняет на меня тревогу. Раньше в такие моменты я обычно звала Грегора на прогулку, Грегор соглашался (он вообще почти всегда поддерживал мои идеи), и это превращало её в ощущение праздника. Теперь я отправляюсь на улицу одна. Так же, как делала до встречи с Грегором, только не могу уже пройти столько же, сколько могла тогда. Теперь мне то и дело требуется перевести дух, присесть отдохнуть. Продолжительность этого отдыха равняется примерно одной трети продолжительности предшествующей ему ходьбы в первые полчаса и увеличивается до трех четвертей на часах третьем-четвертом. Так что разнообразия в моих маршрутах поубавилось – приходится планировать их так, чтобы на пути непременно встречались ска-

мейки. Теперь мне стало ясно, почему в парках и на бульварах так много стариков.

Грегор никогда на моей памяти не играл в шахматы, но когда мы проходили мимо местного шахматного клуба, всегда с характерным оживлением задерживал на нём взгляд, и на лице его в этот момент появлялось то трудное для описания выражение, которое обычно вызывают невозвратно ушедшие в прошлое дорогие вещи. Я знала, что в этом шахматном клубе Грегор никогда даже не бывал, как и в любом другом шахматном клубе. Он и в шахматы никогда не играл. Просто в результате какой-то сложной и запутанной ассоциативной игры этот шахматный клуб стал для него символом доброй, мирной, благоустроенной жизни, средоточием тихого интеллигентного света с налётом ностальгической грусти. Похожие чувства шевелило в нём здание консерватории. Я их отчасти разделяла, но у меня они были подпорчены завистью, Грегору неведомой. Неведомой и в том отношении, что сам он сам её никогда не испытывал, и в том, что я её от него тщательно скрывала. Могло ли получиться, что мы и правда прошли и мимо шахматного клуба, и мимо консерватории в один и тот же день? Если да, то было это поздней весной. Когда оказались возле последней, послышались приглушённые музыкальные звуки. В правом крыле играли на скрипке, в левом на фортепиано. Я тогда считала себя композитором и втайне от всех писала симфонию. Было что-то неприличное в этом моём влечении к секретам. Как эксгибиционист в

парке вдруг распахивает средь бела дня плащ и трясёт перед несчастными прохожими своими причиндалами, так и я, когда всё становилось готово, в самый неподходящий момент вываливала перед другими результаты своих трудов и наслаждалась произведённым эффектом: «А вот посмотрите-ка, что у меня тут есть!» Перед консерваторией в этот раз кроме меня никого не было. Музыка было не слышно.

Вернувшись с прогулки, я поставила на плиту чайник и присела рядом, на стул. Чайник у меня самый обыкновенный, эмалированный, без гудка, им еще Грегор пользовался. Луиза как-то попыталась его выбросить, у нас с ней чуть до драки не дошло тогда. Когда вода вскипела, у меня появилась идея. Немного покопавшись в шифоньере, я нашла, что искала. Отряхнула деревянную коробку от пыли, набросила на плечи терракотовую шаль, вышла в коридор и постучала в соседнюю квартиру. В дверном проеме показалась перекошенная от удивления Симона. Я никогда прежде не стучала к ней сама.

– Симочка!

Думаю, ей было так же неловко, как мне.

– Здравствуй, Симона. Не хочешь поиграть со мной в шахматы?